

ПРО МИТЬКУ

Маленькая повесть

1

Костя Боборыкин в хороший майский день к вечеру был на именинах в хорошей семье, где его любили, и там хорошо выпил.

Он выпил там так хорошо, что не был пьян и уехал из хорошей семьи только по заботе о старшем внуке Ване, который у него оставался дома, приезжая к нему обычно на выходные дни, и, конечно, теперь, вечером хорошего дня, надо было его отправлять к родителям, то есть к дочке Кости, красивой молодой женщине, внешне в целом ничего общего с Костей не имеющей, кроме разве некоторых на первый взгляд не существенных совпадений непонятно даже в чем — в стати ли, в глазах ли, в облике ли вообще, но одинаковой с Костей характером, оттого Косте было с ней легко.

Семья именинника, друга Кости, была хорошей, дружной, любящей друг друга и любящей всяких животных и птичек — свинок, кошек, канареек, попугаев — и любящей всякие растения. Не считая уже обычных для наших квартир лимонных, манговых и финиковых деревьев, они выращивали в небольшой кадучке какое-то сапотиловое дерево, о котором при всей своей грамотности Костя до того никогда не слышал, и именинник, друг Кости, сказал, что еще они всей семьей мечтают вырастить сейшельскую пальму. Об этом уникальном дереве Костя уже имел представление в том плане, что их на Земле всего ничего и растут они столь медленно, что им требуется целая тысяча лет. Эти животные и птички и эти растения в семье друга Кости хорошо приживались, и Костя верил, что они и эту самую сейшельскую пальму тоже вырастят. Кроме того, что все в этой семье хорошо приживалось, оно еще придавало их обычной трехкомнатной квартире, уютной и прибранной, еще и приятный экзотический оттенок. Девятиклассница дочь их была влюблена в Костю с самого детства, и это тоже придавало их семье немного экзотики и немного того, что можно назвать небольшой чарующей необычностью.

Косте хотелось остаться в семье еще, посидеть, поговорить, похихотать, вспоминая что-нибудь забавное из общего прошлого. Но у него дома был его внук, девятилетний молодой человек Ваня, и его надо было отправить к родителям на другой конец города. Дочка именинника собрала для внука Кости гостинцы и, чрезвычайно стесняясь, не взглядывая на Костю, подала. Год назад отцу на именины она приготовила пирог и была очень опечалена, замкнулась у себя в комнате с кошкой,

Арсен Борисович Титов родился в 1948 году, окончил исторический факультет Уральского государственного университета, автор нескольких книг прозы и многих публикаций в литературных журналах России и зарубежья, сопредседатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского отделения СРП, лауреат Международной премии «Ясная Поляна» и Международного кинофестиваля «Золотой витязь».

свинкой и попугаем, узнав, что Костя быть на именинах не может. Для всех враз ее чувство, о котором думали, что детское, вот так открылось. Ее чувство и на самом деле было детским, но все равно всех удивила его длительность или, как еще сказать, его глубина, что ли. И нынче она вышла встречать Костю, смело посмотрела ему в глаза, а он только воскликнул, сколько она выросла, сколько она стала схожей с матерью.

— Да ведь вас не различить, где ты, а где твоя мама, так вы обе хороши! — сказал Костя.

Потом, пока шло застолье, она опять была у себя в комнате, вышла только Костю проводить и собрать внуку Кости гостинцы.

И Косте было хорошо ехать домой, к внуку, вспоминать, что было за столом, вспоминать много хорошего из общего их с другом прошлого.

Отправив внука к родителям, Костя вдруг как-то вот так почувствовал, что он один. Одиноко он жил давно, и это было привычно, а прямо сказать, так это было большим преимуществом, потому что он без малого всю жизнь прожил один — и при жене, и без нее — так отнимала его служба. Когда он был выброшен в запас по оргштатным мероприятиям, каковыми именуется мероприятия по увольнению со службы без причин и каковыми сильно отличались незабвенные девятые годы, дочка пришла жить к нему и жила, пока училась в академии, а потом вышла замуж и стала жить отдельно. Он снова остался один. И все ему было хорошо. А вдруг в вечер этого хорошего майского дня после именин друга и отправки внука к родителям он как-то странно почувствовал себя одиноким, не в том плане, что брошенным, забытым, обреченным, никому не нужным, всеми оставленным и так далее — нет, совсем нет, совсем не в том плане, но все-таки одиноким.

Район, где проживал Костя, был спальный, построенный комсомольцами восьмидесятых, то есть район был просторный, размашистый, со множеством зеленых насаждений, которые еще не распустились. Майский свет, еще не успокоенный зеленью, еще волнистый, голубовато-рыжеватый и даже будто наспех кем-то лепленный и недолепленным оставленный в одиночестве, оставленный ожидать, когда он будет взорван неслышной канонадой лопающихся почек. Какой он был, этот свет, на самом деле, Костя не мог определить. Он только почувствовал, что он какой-то не всегдашний, не обычный, а именно какой, Костя определить не мог, хотя определить очень хотел. И он решил, пусть-де свет будет рыжегато-голубой или голубовато-рыжеватый. И такой вечер с таким светом как бы бережно приобнял Костю, заставил грустно неизвестно чем восторгнуться, заставил отметить, что все это ему внове — внове, как в детстве. Костя восторгом переполнился, даже немного и радостно встревожился от своего восторга и в умаление его стал искать занятие, какое бы восторг умалило. И сразу никакого занятия не нашел, а поглядел с балкона на эту самую световую недолепленность, оставленную голубовато-рыжеватой, и пошел взять с полки томик своего, можно сказать, брата, сослуживца, одинокого военного пенсионера и калеки из португальского шестнадцатого века поэта Камозанса, взял не то чтобы почитать, а взял неопределенно, чисто по гражданской байке об армейской логике — копать от ворот и до обеда. Стихи его Костю особо не трогали, не то что, например, Рубцов. Но Камозанс был старым бирюком-вожкой, и это обстоятельство очень Костю с ним сближало. И он любил порой просто взять его томик, как взял сейчас: взял, чтобы подержать его в руках, пошевелить его страницы, а потом поставить обратно, то есть отвлечь себя от не нужно нахлынувшего восторга. Он вспомнил, как, бывало, на Восьмое марта готовил в бригаде стенгазету и кое-какие стихи, например, «Сиянье ваших глаз, моя сеньора» и так далее, в газету выписывал, чем ловил бурный успех не только

у женщин, а и у своего брата мужиков, свято не верящих Косте, что это стихи Камознса, а не собственного Кости сочинения.

А потом он вдруг пошел на кухню и вынул из холодильника болтающуюся там с осени бутылку зверобоя. Взял вот так, ни о чем не думая, без угрызений и всякого прочего душевного груза, обычно неминуемого в семейной жизни. Он взял и ничуть не подумал о преимуществах того своего одинокого бытования, в каком пребывал и, скажем, коль уж вспомнилось, в каком пребывал его сослуживец Камознс, бытования старого бирюка-вояки в этом плане, конечно, выигрывавшем от бытования семейного. Взял Костя из холодильника бутылку зверобоя. А о преимуществе своего бытования ему нахлынуло потом и нахлынуло коротко, как бы укором жены, которая, кстати, никогда его за это не укоряла. Но ему нахлынуло — все-таки Костя был по характеру семейным человеком, и только служба сделала его, как он любил думать, бирюком, то есть привычным к одиночеству.

И так как он после именин у друга, после хорошего застолья в хорошей семье все-таки был пьян, то с этой бутылкой зверобоя он провел всю ночь до самого рассвета, а на рассвете хорошо и крепко заснул с чувством всего пережитого за ночь и надеждой, что все будет так, как он в переживании себе насочинял. А насочинял он, конечно, так, как обычно сочиняют все. То есть он насочинял, что все будет у него хорошо.

2

А то, что все будет хорошо, для Кости укладывалось в следующее.

Полутора годами раньше, в декабре, дочка сказала, что они с мужем решили усыновить ребенка из детского дома. Дочка характером была в Костю. Ему с ней было легко. И ее слова Костю не удивили. Он будто их даже предчувствовал, будто знал еще с ее рождения, что она однажды, выросши, скажет так. Он не удивился. Он и сам в декабре восемьдесят восьмого, когда сотрясло Армению, сказал жене о таком же желании, и жена согласилась. Но он вечно был на службе, и с женой уже не все у него ладилось. Он сначала сказал, она сначала согласилась. А потом он пару раз спросил, ну, как-де насчет ребенка. Она снова ответила согласием, давай-де, если хочешь, возьмем. Он понял, что ей не надо, и не стал настаивать, тем более что начались всякие нехорошие события по всей стране, будто землетрясение заодно сотрясло и народ. Лидер страны товарищ Гэ Эм Эс вмешал в события армию, а потом ее, как генерал Власов, сдал, то есть свалил все на нее и на министра обороны, хотя как раз армия не дала тем нехорошим событиям вылиться вообще в межнациональную резню и разгул преступности. Армия тогда, в тех нехороших событиях, сделала все, что смогла. Но ее все равно обвинили во всех грехах и преступлениях вплоть до того, что она не скинула власть, как это, например, полутора десятками лет до того сделали португальские армейские офицеры, далекие потомки друга Кости — поэта и вояки Камознса.

Одним словом, это новое землетрясение развалило страну, развалило очень многие, казавшиеся незыблемыми семьи, в том числе и семью Кости. И всем стало не до чужой беды, не до чужого горя, не до желания спасти от сиротства хотя бы одного ребенка.

А дочка ему сказала, и он сразу согласился, будто ждал ее слов. Еще она сказала, что нужна будет его, Кости, помощь, потому что ее с работы, с довольно солидной должности, согласны были отпускать только на половину дня, и потому другую половину дня хорошо было бы с ребенком быть Косте. Костя и тут согласился, хотя из-за этого ему пришлось оставить свою работу. Он только сказал себе,

что состоялась его мечта молодости, и стал ждать ребенка из детдома, то есть второго внука, как ждал в свое время внука первого и как ждал в молодости саму дочку. Он, конечно, ждал, что дочка возьмет девочку, то есть ему — внучку, и представлял ее нежные ладошечки на своих щеках, и ее нежный лепет, и ее уже в младенческом возрасте всякие женские штучки, какие с великим изумлением он отмечал у дочери. Ему так и рисовалась эта девочка, нежненький и сбитенький карапузик, тянущий к нему ручки, пускающий через два нижних зубика светленькие слюнки, улыбающийся и сияющий на него глазами, уже по-женски что-то ему являющимися. Дочка мечту о девочке сразу погасила. Она рассудила о мальчике — пусть растут два мальчика. И он опять согласился и подумал о дочке: умная.

И в декабре у него появился второй внук, Митька.

Костя совершенно не смог бы объяснить, если бы его стали спрашивать, почему он вынул из холодильника давнюю бутылку зверобоя. Стояла она там, купленная еще осенью, и предназначалась для дачи, для того, чтобы там с холода и устатку осенних работ дерябнуть ее вечером перед камином. Предназначенное, однако, не свершилось. И бутылка тихо-скромно постаивала себе в холодильнике, может быть, даже прижилась там — во всяком случае, видеть ее там стало привычно, будто стала она неотъемлемой деталью холодильника. И за время зимы и весны не раз на душе у Кости был праздник, подобный нынешнему, когда руки сами снимали с полки то Камознса, то Рубцова, а то и самого Льва Николаевича с его «Кзаками» и «Анной Карениной». И не раз он мог бы бутылку из холодильника вынуть и рюмочка по рюмочке опустошить то вместе с Ершкой, а то в негодовании на Анну, которой, видите ли, мужнины уши прихлись не ах. Однако за зиму и за весну такого желания не случилось — это даже при том, что Костя трезвенником и ханжой не слыл и порой выпить почитал за святое. А сегодня случилось. Сегодня майский вечерний свет, какой-то голубовато-рыжеватый, еще не успокоенный летней зеленью и от того позволяющий себе многое из того, что не будет позволять летом, — этот свет сегодня Костю приобнял и будто неуспокоенно нашептал ему чего-то такого, чего не было раньше. И Костя не на даче и не перед камином, не после осеннего холода и не с устатку враз дерябнул пару рюмок. А те тотчас же поспособствовали более чуткому восприятию вечернего майского света, обнимающего, обволакивающего и даже нечто нашептывающего. Способствование отразилось в хорошую сторону. Как-то по-иному стал восприниматься португальский сослуживец и друг Камознс, почти так же, как Рубцов. Как-то по-иному представился вечер у друга в семье, еще тоньше и теплее, и представился он с каким-то новым пониманием их увлечения зверушками и растениями — так, будто это увлечение явилось единственно насущным во всей жизни занятием, почти крестьянским и почти армейским — по Косте, самыми уважаемыми занятиями на земле. И Костя выпил за семью друга, за их занятие, за счастье их дочери, особо сказав, чтобы она быстрее в отношении своего детского чувства взрослела, то есть от детского чувства к нему, Косте, быстрее избавлялась. Он выпил, опять отметил их увлечение равным крестьянскому и армейскому, даже придал некую законность их увлечению, дескать, в такой-то семье оно совершенно логично, как логичны для государства труд крестьянина и труд военнослужащего, по-старинному, труд орагая и труд ратника, даже в названии имеющих один и тот же корень. И в эту логику Костя запоздало включил своих внуков — их-то, двух своих внуков, двух своих ненаглядных дураков, как он мог не взять во внимание! И конечно, вменил он это себе во грех, в грешиншко, как он любил говорить. И, конечно, вспомнил иные свои грешиншки по отношению к внукам и дочке, случаи, когда не совсем охотно отзывался, а если отзывался, то не совсем искренне,

а порой так и совсем скрепясь, отзывался на просьбы дочки побыть с ними, и слава богу, что ни разу при всем этом не отказал ей.

— Много грешешек, много! Но... — сказал он о себе.

И это «но» отнюдь не касалось того, как то можно было бы предположить, мол, а кто не без греха. Это «но» касалось только его самого, его прежней жизни, полностью прошедшей в военной службе. И это «но» должно было сказать, что при всех своих грешешках он служил честно и безотказно, звания, должности и награды получал по заслугам, а вернее, так по заслугам их недополучил — и, например, даже уволен был за два месяца до тридцатого календаря, то есть за два месяца до полных тридцати лет службы. Надо полагать, государство оттого-то и не разорилось, что сэкономило на этих двух месяцах немалые средства, дав тем самым вспрячь и оклематься олигархам.

И с этим «но» накатило на него воспоминаниями.

3

Воспоминаниями накатило на него разными — о службе, о внуках, и все они накатились вперемешку, и все они накатились светлыми, как объяввший его майский вечер. И сколько ни был любим первый его внук Ваня, вместе со службой перед глаза вышел вперед внук второй, Митька.

Дочка с мужем, тоже Костей, ставшим Костей Вторым, его привезли из соседней области. Уехали за ним рано утром и вернулись поздно вечером. Костя с первым внуком ждал их. Внук услышал их по мотору машины и подскочил к окну. Потом они оба спустились во двор. Костя Второй защелкивал замок на стоянке, а дочка вынимала из детского креслица на заднем сиденье большой продолговатый сверток. Внук подскочил к ней.

— Тише! Он спит! — сказала дочка внуку и так же сказала следом подошедшему Косте.

Но лишь Костя подошел, лишь различил, что в руках у дочки не сверток, а ребенок в толстом комбинезончике, лишь Костя увидел его личико, как он открыл глаза и с неожиданным взрослым вниманием посмотрел на Костю, потом на дочку Кости и снова на Костю. Костя поспешил улыбнуться.

— Митя! — сказала дочка.

А он, Митя, молча и серьезно потянул к Косте ручки.

— Вот так же сразу он потянулся и к Косте. Весь персонал даже удивился! — сказала дочка о муже, Косте Втором.

— Мужик! Мужичок! — сказал, подходя, Костя Второй.

— Да? Митя — мужичок? — спросил Костя и взял Митю-мужичка, Митьку, внука Митьку. И тот пошел к нему. И Костя удивился его неожиданно маленькому против комбинезончика тельцу, его легкости, будто в комбинезончике было больше пушоты, чем тельца.

— Митька, Митрофан! Дурак мой! — сейчас, держа рюмку и взглядывая в окно, сказал Костя и сам за Митьку ответил, как тот обычно отвечал: — Я не дувак! — и сам подтвердил: — Да, ты не дувак, ты чудонько наше!

И не уследил, каким образом, какой логикой нахлынуло ему слово «Васатичигнай», одно слово, просто слово, разумеется, связанное с его Афганом и несущее только название одного крупного ущелья, в котором была однажды проведена крупная и потому, прямо сказать, неудачная операция.

— Митя, чудонько! Васатичигнай мой! — сказал Костя и только потом себя услышал, услышал это слово и удивился: — А это-то зачем? — и ответил: — А низачем! — и выпил.

А тогда Митьку, конечно, понесли домой и стали втроем раздевать — больше-то, конечно, раздевали дочка с мужем, а Костя стоял рядом и был доволен уже тем, что ему передали и он подержал комбинезончик. Дочка с мужем, раздевая Митьку, поворачивали его и так и этак. Разговаривали с ним, а он молчал и, когда удавалось, неотрывно и с серьезным вниманием смотрел на Костю.

— Кто там? — заметила его взгляд дочка. — Кто там? Там деда? — и подтвердила: — Там деда, твой деда! Деда хороший!

А он, Митька, молчал, послушно поворачивался, и маленькое светленькое его личико было таким, будто он что-то думал, будто вспоминал или готовил что-то себе сказать. Без комбинезончика и толстых кофт и штанишек вышел он совсем худеньким кукленочком, встал на тонкие ножки, посмотрел на всех и протянул руки к дочке Кости, но с ее рук опять стал взглядывать на Костю, и опять дочка стала говорить про Костю словом «деда» и потом спросила Костю:

— Папа, а что он на тебя так смотрит?

Костя и сам не знал, почему Митька на него так смотрит.

— В диковинку, наверно. Там, наверно, мужчин не было! — скрывая потаенные гордость и удовольствие от того, что Митька на него так смотрит, ответил Костя.

И сейчас тоже сказал:

— В диковинку!

Сказал и посмотрел в пустую рюмку и удивился пустоте в ней.

И утром Митька молчал. Дочка сказала, что он и в дороге молчал, большую часть дороги он спал, а когда просыпался, тоже молчал, видимо, что-то понял еще там, в детдоме, потому что стал собираться и потащил из шкафчика свою одежку, но потащил тоже молча, как молча и распрощался с сотрудниками детдома, посмотрел в их сторону и отвернулся. А они провожали его, и им, кажется, хотелось, чтобы он простился с ними как-то по-другому. А потом Костя с Митькой остались одни. На уход дочки он заплакал, и дочка растерялась, стала в дверях топтаться, что-то Митьке говорить, собственно, стала сюсюкать с ним якобы в успокоение. Костя прикрикнул на дочку, мол, быстрее уходи, он без тебя быстрее успокоится. Так и получилось. Дочка ушла. Митька в тревоге показал на закрытую дверь, как бы спрашивая, как это так. Костя сказал ему, вот-де, так, мама ушла, а Митя и деда, то есть сам Костя, остались вдвоем, и пальцем показал, кто Митя, а кто деда. А потом Костя пытался с Митькой играть, подсовывал ему игрушки, рыкал, кричал, гудел, изображая шум автомобильчика, трактора и самолета. Митька вроде бы улыбался, а глаза выдавали прежнее, вчерашнее, глаза выдавали какую-то совсем недетскую работу. Оживился он и вспрял, услышав во дворе машину.

— Ма! — сказал он, вытянул ручонку с тонкими, едва не просвечивающими пальчиками на звук, легко соскользнул с колен Кости, ухватил Костю за мизинец и потянул к окну. — Ма!

— Ма! Машина! — сказал Костя.

Они долго смотрели во двор, на въезжающие и выезжающие машины, и оба говорили: «Ма!», и Костя еще прибавлял: «Машина!» И Митька как-то пооттаял, как-то будто даже расслабился, посветлел личиком, и глаза выдали другую, не прежнюю напряженную, а другую работу, собственно, уже и не работу, а что-то именно детское, детям исподволь присущее, что-то впитывающее мир, счастливое, простое и чистое. Костя в порыве прижал его к себе, про себя матом обругав бросившую его мать и вместе с матом как-то эгоистично отметив совсем противоположное,

такое, что хорошо-де, что отдала, что теперь он достался Косте, достался всем им и что теперь ему во всем будет счастливо. Митька откликнулся на его ласку, прижался своей щечкой к щеке Кости, но тотчас отпрянул и внимательно поглядел на щеки Кости, модно небритые и колючие.

— Ах ты! И это тебе в диковинку! — сказал Костя, а сердце его так и забухало, так и заходило, так и заповыстраивало вокруг Митьки каменную стену, за которой предстояло Митьке быть счастливым.

Оно, сердце Кости, и сейчас, в этот хороший майский вечер, от воспоминания того хорошего декабрьского дня забухало так, что дерябнул Костя зверобоя еще и еще. И стало ему за Митьку, за предназначенную ему с отказом от него матери жизнь — если бы дочке Кости не пришлось в голову взять его к себе, — за его самое черное, самое никакое будущее нестерпимо больно. Какое там будущее, если с самого рождения ему было уготовано не знать, ни разу не пролепетать слово «мама», подумал Костя и еще подумал, что его слово «ма», может быть, как раз вопреки доставшейся ему доле и обозначило слово «мама», может быть, привезли его в детдом на машине и бросили, и он запомнил звук машины, связывающей в воспоминании его с матерью и ставшей ему матерью-машиной. А тут дочка с мужем тоже приехали на машине и повезли его на машине, и он, может быть, тем более уверился в своем понимании, что машина и есть мать. Так стало Косте после того, как он зверобоя — еще и еще.

И Косте стало хорошо от того, что он хоть в тот декабрьский день и не догадался до этого, но долго стоял с Митькой у окна, смотрел на машины и вместе с ним говорил «ма» и следом же прибавлял слово «машина».

А слову «мама» Митьку научил тоже Костя и едва ли не в первый день — ну, пусть не в первый, а на второй или на третий, но научил Митьку этому слову Костя. Дочка утром, лишь Костя пришел, показала, где и что для Митьки приготовлено, и побежала на работу. Митька с рук Кости по-вчерашнему захныкал, потянулся за ней и неожиданно сказал: «Па!» Дочка, конечно, на хныканье остановилась.

— Ах ты мой хоросенький, ах ты мой Митенька! Да мама твоя побежала на работу! Да она скоро к тебе придет! — едва не в слезах засюсюкала она.

Косте опять пришлось прикрикнуть. Дочка убежала. Остались они одни. И Митька все оглядывался на дверь, и все говорил: «Па!»

— Э, — смекнул Костя, поднес Митьку к двойному портрету — дочка и Костя Второй, счастливые — и стал показывать то на одного, то на другого, четко выговаривая: — Папа!.. Мама!.. Папа!.. Мама!..

Митька некоторое время смотрел на портрет, потом недоверчиво посмотрел на Костю, мол, что-то ты, мил человек, не то мне городишь, еще смотрел на портрет, а потом точно таким же, как и Костя, жестом показал на Костю Второго, четко выговорив: «Па!», а потом показал на дочку Кости и опять четко сказал: «Ма!»

— Ну вот, обезьян! — обрадовался Костя. — Вот, правильно! Папа! Мама!

И Митька стал показывать на портрет еще и еще говорить «Па!» и «Ма!» и как-то особенно, в восхищении, что ли, смотреть на Костю: «Па!», «Ма!»

— И как же тебя не любить! — захлестнулся сердцем Костя и опять послал матюг в сторону, так сказать, биологической матери Митьки, а потом спохватился и послал вдогонку опровержение, мол, простите, сорвалось по недомыслию, а вам за ваш поступок большое спасибо.

Вот так сейчас, в хорошую ночь, пошли один за другим все его, Кости, переживания за Митьку, пошли укладываться в те полтора года, которые были там, неизвестно где, когда Митька был ничей, когда ему светила участь быть ничьим во всю его жизнь, когда ему светило счастье не уметь сказать ни «Па!», ни «Ма!».

— Ведь у тебя тогда, — стал говорить вслух Костя о том дне, — ведь у тебя умочек уже требовал сказать слово «мама», а сердчишко не имело возможности ему подсказать. Оно само было неграмотно. Оно само ничего не знало! — так сказал Костя, а потом сказал наоборот: — Нет! — сказал. — Не то! Сердчишко требовало сказать слово «мама», а умочек не мог ему подсказать!

Так Костя сказал, послушал себя, заключил, что во втором варианте вышло правильно. И он снова охватился сильной тревогой, тревогой более сильной, чем тогда, в декабрьский день, тревогой с морозцем по хребту и затылку, от представления того, что было бы с Митькой, не приди дочке Кости на первый взгляд блажь, а по сути, счастье, не приди его дочке страсть взять себе чужого ребеночка.

4

И другие воспоминания других, следующих полутора лет Митьки пришли Косте. Он изрядно подхмелел. Уже ночь была зрелой. Через открытое окно пришла Косте ночная прохлада, темная и нежная, навреде шелка. Он ее положил на ладонь и во всей выпренности, будто нечто торжественное, будто край бригадного знамени, поднес к губам — пьяненький, конечно. И он почувствовал, что прохлада темна, густо темна, как... он хотел сказать, что она густо темна, как кровавый бинт. Но перескок от знамени бригады к кровавому бинту ему не понравился. Он понял, что перескок обусловлен пьяным его состоянием.

— Обусловлен пьяным моим состоянием! — сказал он и напрягся, выгоняя хмель, и пошел к окну, и втянулся в ночную темноту, тоже густую, чернильную. Конечно, ему показалось, что он в нее втянулся, а на самом деле он просто высунул в окно голову и как-то этак ловко высунул, что увидел себя в этой темноте, себя давнего, оказавшегося непроглядной ночью среди огромной стаи собак, молча расступившихся перед ним, а потом молча же замкнувших за ним кольцо. Он почувствовал под ногами тепло нагретого за день асфальта. И, будто ввинчиваясь в самого себя из какого-то небытия, а попросту из беспамятства от контузии и потери крови, понял, почему здесь собрались собаки — они пришли на теплый асфальт. Сколько их было, увидеть было нельзя. Но по их дыханию со всех сторон и на уровне середины его бедра он понял, что их несколько штук и они крупные. Значит, сказал он себе, значит, он вышел к какому-то селению.

Тогда от потери крови и беспамятства он тоже был пьян. Тогда он тоже стал напрягаться, чтобы выгнать беспамятство, вспомнить, отчего он пьян. И ему тогда показалось, что он втягивается в самого себя, в сущности, в свою память. И ему мелькнуло тогда что-то насчет резкой оглушающей вспышки, после которой он ощутил себя среди крупных собак на теплом асфальте. И что-то похожее на страх пришло к нему.

И сейчас вдруг тоже возник страх. Он увидел не себя в кольце невидимых больших чужих собак, а Митьку. Он дернулся от окна, тотчас вспомнив, что тогда, опомнившись на теплом асфальте и среди собачьего дыхания, он не дернулся. К нему тогда пришла память. И первое, что он сказал себе, там, внутри себя, не вслух, первое было — что он вышел к какому-то селению. И он мелко-мелко, осторожно-осторожно пошел обратно, в ту сторону, с которой ступил на асфальт. И ему было непонятно, почему они не залаяли и не кинулись на него. Он подумал, что без памяти он не был человеком, что они не почуяли в нем человека, приняли за какого-нибудь барана из отары.

— А Митьку бы почуяли! — в страхе сказал он. И только стоило ему услышать себя, как в наплывающем просветлении он сказал: — Так ведь Митьку-то, Митьку, маленькое чистое создание, они бы не тронули вообще!

И ах как ему захотелось к Митьке. И ах как он выпил. И ах как пошли светлые воспоминания последующих Митьки полутора лет — полутора лет всеобщего любимца Митьки. Воспоминаний было много. Шли они не чередом, а как попало. Каждое приносило Косте теплую и отнимающую силы радость. «Деда!» — в восторге срывался Митька от родителей, стоило только ему завидеть Костю, и в восторге, будто в показ Косте, что он все помнит, быстрой чередой повторял все то, чему они с Костей успели научиться — надо полагать, благодарил. «Деда!» — вскрикал он в восторге, и мчался на своих коротких и быстрых, как спицы в колесе, ножках, и тянул к нему ручки. А дочка и Костя Второй, сами от Митьки без ума, каждый раз поражались тому, каким становился Митька при Косте. Все это хорошим светом приплыло Косте. И приплыло отметкой, которая родилась еще тогда, еще полтора года назад, что Митька переменялся к Косте после крещения, в котором Костя стал Митьке крестным отцом.

Может быть, только Костя был таким толстокожим, таким упрямым, таким невосприимчивым и черствым человеком, что отношение к вере у него было какое-то свое, ничуть не атеистическое, когда, как говорится, хоть на костер, а ты свое: «Все-таки она вертится!» — имеется в виду Земля и кто-то там, эту особенность Земли подсмотревший. Не был Костя таким безбожником. Но не был он и верующим. В церковь он ходил. В церкви он крестился. В церкви свечку он ставил. Но никак не мог уверовать. Ему ребята внушали — есть. Есть все то, что называется Богом, потому что есть параллельный мир. И не совсем вроде бы был Костя дурак, и мог принять параллельный мир. Но душа его чуяла одно: он, Костя, умрет, и его не станет, просто не станет, как его не было до рождения, как не было его, например, некоторое время в беспмятстве от контузии и потери крови. Всем другим он, конечно, желал, чтобы было то, куда душа переселяется, и им там было бы хорошо. Но о себе он знал, умрет — и его не будет.

5

Вспомнил Костя крещение Митьки и — ну, пьяный же! — вдруг пронзился чувством, что при таком свете воспоминания и таком свете ночи, то есть при свете такой ночи, ему следовало переодеться в мундир. Он подумал, что это вычурно и смешно — расхаживать в мундире при наградах ночью в квартире. Но он сказал: «Ну и что!» — так ему захотелось ошутить на себе мундир. Он сказал: «Ну и что!» — и пошел в кладовочку, служившую ему гардеробом. «Служившую!» — сказал он со значением и от двери кладовочки отвернул на кухню выпить за это слово «служившую», прежде чем услышать звон серебра на снимаемом с плечиков мундире.

— Эхе! Как это! — в удивлении сказал он пустой бутылке. — Как это? — еще раз сказал он и сказал как бы куражливо, как бы с некоторым обвинением ей, бессовестно опустевшей перед самым необходимым моментом и в горечи от такого ее поступка, по сути, равного предательству, отвернулся.

Отвернувшись, вздохнул, пошел снова к кладовочке, и мундир снял, и звону серебра на мундире внял, и из кладовочки вышел, мундир надел, пуговицы застегивать не стал, сел на диван, всюю своей левой стороной груди чувствуя броню наград и почему-то вспоминая пресловутую ОШМ, пресловутые оргштатные мероприятия,

не давшие ему двух месяцев до тридцати полных календарей. Не глядя, потрогал левую сторону мундира, перебрал ее, будто жизнь пропустил сквозь пальцы — пьяньский, конечно.

А Митьку крестить повезли к давнему сослуживцу Кости отцу Феогносту в заштатный городишко, в бывшее, как любили отмечать историки и краеведы, демидовское гнездо, славившееся великолепным храмом начала девятнадцатого века и кое-какими другими достопримечательностями. Сослуживец Кости отец Феогност в этом храме служил настоятелем. Тут же при нем заведовала хозяйством, административной, воскресной детской школой, советом прихожан и еще много чем его жена, матушка Татьяна.

Поехали рейсовым автобусом. Митька сразу же посерьезнел, будто умочком своим и сердчишком взялся что-то постичь. И Костя затревожился — уж не приходит ли Митьке, что его везут опять туда, где нет места слову «мама», а слово «ма» обозначает только машину, но никак не «ма-машину», ту самую, которая привезла его к слову «мама» и сама как бы стала мамой. Вот смотрит, думал Костя, и умочком своим переводит что-то навроде того, эх, недолго мне досталось смотреть через окно на чудо из чудес на «ма-машину», опять повезли меня туда, где «ма» — это только «ма», машина и ничего более. И Костя молча говорил Митьке так не думать, говорил-де, если ты что-то умеешь думать, то так не думай, а думай про все хорошее, думай-де, вот окрестит меня в хорошем храме хороший батюшка, и повезут меня снова домой.

Думал что-то Митька или ничего не думал, а за все время крещения ничуть не пикнул, не изменился в лице, будто и в самом деле думал про все хорошее.

А храм, великолепнейшее двухсотлетней давности творение потомков демидовских, отреставрированное и отделанное после работы в нем снарядного цеха местного завода, встретил их сорокаголосьем детским ревом — сослуживец Кости отец Феогност около алтаря скопом крестил окрестных ребятишек. Митьку и это не тронуло. Он с рук Кости смотрел на все внимательно и иногда, чуть отстраняясь, взглядывал на Костю. А что хотел он сказать взглядом, Костя прочесть не мог и на всякий случай снова говорил думать Митьке про все хорошее.

Сослуживец Кости отец Феогност, покончив с сорока окрестными ребятишками, большой, могучий, увеличенный в физическом своем облике еще и церковным одеянием, едва не утопил Костю вместе с Митькой в радостном своем объятии.

— Ну, видел, командир, каков хлеб поповский? — радостно сказал он, чуть кивнув в сторону все еще ревуших сорока окрестных ребятишек.

— И наш был не слаще! — сказал Костя про службу.

И крестили Митьку отдельно, в отведенном для того приделе. Сослуживец отец Феогност спросил Костю, хотя знал еще со времени совместной службы его отношение к вере, спросил, верует ли он. Костя ответил виноватой улыбкой.

— Все понятно! — сказал сослуживец отец Феогност как бы в осуждение, хотя осуждать и не думал, и Костя это знал. — Все понятно, командир! — повторил он и прибавил, что он о Косте знает больше, чем сам Костя. — Ладно. Я больше тебя о тебе знаю! — сказал он.

И Костя был у Митьки крестным, и совершил все требуемое обрядом, трижды громко, как на плацу, кричал отречение от лукавого, раздевал серьезного и будто все понимающего Митьку, отдавал его сослуживцу отцу Феогносту, получал его обратно из купели, терпеливого, молчащего и серьезного, потом одевал в беленькую распашоночку с шитой по краям золотой узкой тесьмой, специальной к крещению, ходил с ним по кругу за читающим молитвы отцом Феогностом, держа Митьку на левой руке, крестясь в указываемом отцом Феогностом месте

правой и ощущая, как раненая левая рука Митьку, этого, можно сказать, одуванчика, с каждым шагом все более отказывается держать.

После крещения пообедали с вином в трапезной, поговорили о том о сем, менее всего, приличия ради, о службе боевой, как то можно было ожидать, а более о нынешнем, насущном. Выходило, что все у всех складывается хорошо. Матушка Татьяна, любившая Костю, как она говорила, сберегшего ей ее мужа, хотя Костя специально никого не берег да и сберечь не мог — разве что отказался бы выполнять задачи и распустил всех по домам, — сказала, что встречаться надо чаще. Встречаться чаще никто не был против. И договорились встретиться всем вместе на пасхальной неделе.

— Только не в саму Пасху. У меня и секунды свободной не будет! — уточнил встречу сослуживец отец Феогност.

На обратном пути, тоже в автобусе, Митька снова был на руках у дочки Кости, спал, а когда просыпался, тотчас оглядывался на Костю, сидевшего со вторым внуком Ваней сзади. Тревожный, во всяком случае, кажущийся Косте тревожный его взгляд, найдя Костю, успокаивался и даже будто что-то говорил.

— Папа, ну что он все время тебя ищет! — будто в недовольстве или в ревности не выдержала дочка.

— Я гарант его благополучия! — пошутил Костя.

— А мы разве не гаранты? — в прежнем чувстве спросила дочка.

— Вы отец и мать. А я дед. Да еще я его крестный! — снова отшутился Костя.

— Митя! Наш Митя! — с любовью прижала к себе Митьку дочка Кости.

А он, выворачивая голову, снова и снова смотрел на Костю. И как тут было, вспомнив все это, не облечься в мундир.

6

И как же тут, при мундире, было не назвать пустую бутылку и бесстыже исчезнувший зверобой предателями. Выходили они подлинными предателями, изменниками Родины, и к ним без всяких оговорок подходил приказ номер двести двадцать семь времени Великой Отечественной войны со словами...

Далее Костя хотел, конечно, привести эти слова приказа, но запнулся, стал вспоминать, какие именно слова в отношении предателей Родины говорил приказ. Он взял со стеллажа книгу фронтовых воспоминаний с полной публикацией этого приказа, более полстолетия скрываемого как нечто совершенно позорное, хотя никакого позора он в себе не нес, а нес только то, что должен был нести приказ времени войны — конкретные распоряжения для достижения победы. Костя несколько раз прочел приказ, как-то не очень ясно вспоминая, что читал эти слова о предателях Родины в приказе, но сейчас не находя их. В приказе не было этих слов. Там было определенно сказано, как поступать с трусами и паникерами: «Трусы и паникеры должны истребляться на месте». Но бесстыже исчезнувший зверобой и уж тем более пустая бутылка зверобой под эту категорию не подходили. Они были предателями Родины, но никак не трусами и паникерами. А про предателей Родины приказ говорил только вот такие слова: «...все отступившие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины, и поступать с ними надо как с предателями Родины...», а как поступать с ними, с предателями Родины, именно это приказ не говорил.

— Эх, вы! — сказал в досаде зверобой и пустой бутылке Костя. — Вывернулись! В самый необходимый момент подвели, оставили одного, бросили! А вас, оказывается, наказать нельзя!

И пока он так говорил, пока, сидя на диване в мундире с наградами, он произносил эти несколько слов, досада улетучилась, и вместо только что желаемого наказания Костя вынес им, выпитому зверобоею и пустой бутылке, благодарность.

— А вы молодцы! — сказал он, все увидев по-новому, не так, что предатели Родины и прочее. — Да вы меня в самый необходимый момент поддержали! Вы сами погибли, а меня поддержали! — сказал он.

И он тронул одну из наград на мундире. Только она знала слова наградного листа, благодаря которым она и появилась. Она знала слова о том, что Костя, в ту пору майор Боборыкин, пошедший в поиск с молодежью и как наиболее опытный, остался прикрывать отход обнаруженной группы и повел боевиков в сторону, был контужен и ранен, но уничтожил шестерых. Сам он помнил только первых двух. А она по наградному листу знала о шестерых. Может, она была более права. Может быть. И потому-то, видимо, он оторвался от преследования — шесть двухсотых или там трехсотых хоть кого остановят, заставят призадуматься, за кем погнались. А сам он после первых двух им заваленных и после взрыва гранаты уже ничего не помнил — не помнил, как отстреливался, куда уводил или уже не уводил, а просто шел и шел, тащился, где падал и вставал, где спал или не спал. И совсем он не мог вспомнить, как на четвертые сутки едва ли не Божьим промыслом вышел на этот теплый асфальт со стаей собак. Он очнулся от их дыхания и понял, что рядом селение, что селение — это гибель или, того хуже, плен и ему в его положении самым лучшим оставалось пойти в ту сторону, откуда он пришел. Он так и сделал. И собаки молча пошли за ним. И никакого чуда в том не было, что они не залаяли. Куда там наброситься на него — они даже не залаяли. Они только молча обнюхали его и пошли за ним. И не было того, о чем он тогда, очнувшись, подумал, что они его, беспмятного и обморочного, приняли за нечто неодушевленное, например, за барана из отары. Все на поверку вышло просто и без чудес. Еще с Афгана Костя знал, что не было лучше в гарнизоне сторожей от духов и вообще местного населения, чем собаки, со щенячьего возраста выросшие в гарнизоне. И эти собаки, на которых он вышел, был отрядные, выросшие при их отряде. И до гарнизона, до родного отряда было всего с полкилометра. Откуда же ему в его беспмятстве было об этом знать. И он медленно пошел назад. И он упал в десятке метров от асфальта — обо что-то запнулся и уже не поднялся. А чудом было то, как он в беспмятстве вышел к отряду.

— Вот так вы молодцы! — сказал Костя выпитому, то есть уже не существующему, уже как бы погибшему зверобоею и пустой бутылке.

А приплыло это воспоминание о том бое и о собаках на теплом асфальте потому, что прежде приплыло прошлогоднее хмурое, сырое и холодное осеннее утро на даче Кости в дремучих лесах среди каменных глыб уральских сопок. Дочка и муж, то есть Костя Второй, ушли за грибами. Внук Ваня удрал к соседским ребятишкам, а Митька остался с Костей. Он тоже стриганул на своих коротких и быстрых ножонках за Ваней. Он уже хлебнул счастья бегать за ними, за старшими ребятишками, и лучиками просыпающегося умишки ловить совсем непонятные, но уже подспудно, врожденно близкие ему и трогающие его сердчишко их затеи. Он длинной очередью из пулемета РПК прострочил за Ваней, но безжалостно был пойман Костей в дверях.

— Я с Ваней хосю! — заплакал Митька.

Косте надо было поработать во дворе. Но он сказал:

— Пойдем искать папу и маму!

Они вышли за ворота дачи и вошли в дремучий сырой лес. И этот поход с Митькой по дремучему сырому лесу, этот круг в полтора километра был для

Митьки, в глазах Кости, равен его, Кости, тогдашнему пути в отряд. Костя свято верил в то, чему его учили и что он учил до изнеможения, до автоматике, до навыков, переходящих в инстинкт. Именно эта автоматика навыков, перешедших в инстинкт, по мнению Кости, и привели его к отряду. И Митька не то чтобы верил Косте, что Костя найдет маму. Митька иного и не знал. Уже какая-то пуповина связывала их. Уже было у них что-то нераздельное. Что там Митька думал под низкими сырыми лапами елей, пихт и можжевельника — что он мог думать? Он держался за руку Кости и думал, если думал, что так и надо. Надо идти за Костей, за «дедиськой» — и ничего иного не надо. У него тоже был навык — навык знать, что Костя, «дедиська», ведет его к маме, почему-то оказавшейся в этом дремучем сыром лесу или оказавшейся где-то в другом месте, но к ней надо идти по этому дремучему сырому лесу. И он, Митька, придет к маме, если таким образом, через дремучий и сырой лес прийти к маме, сказал Костя, «дедиська». И он шел притихший, серьезный, исполняющий большую работу — идти к маме сквозь сырой дремучий лес. И они вышли обратно к воротам дачи. И Костя, заслышав за спиной, на тропке, по которой они только что шли, дальний и неясный шум чьих-то шагов, остановился. Он догадался, что это могли быть его дочка и Костя Второй. Через минуту он услышал их голоса.

— И где же наша мама? — спросил Костя.

Митька вздохнул и грустно, совсем как много поживший мужичок, развел ручонками:

— Тю-тю!

— А вон там кто? — показал Костя на тропку, по которой они только что пришли.

Митька посмотрел туда, в сырой и дремучий лапник ельника, в можжевельник, загораживающий тропку, и поверил Косте.

— Ма-а-ма! — в необычайном, но тихом восторге возгорел Митька.

И сегодня, в этот хороший майский день, ну, не в день, а в хорошую майскую ночь, Костя все вспоминал и — пьяный, конечно, — вспоминал все хорошо, вспоминал так, будто Митька был у него, был у его дочки и ее мужа Кости Второго, спал в своей кровати рядом с ними, с мамой и папой, спал, раскинув ручонки и ножонки, а те трепетно ловили каждое его сновидение.

Костя с тем и улегся на диван калачиком и укрылся мундиром, сквозь его плотную ткань чувствуя теплую, будто от чьих-то любящих ладоней, легкую тяжесть наград.

А Митьки у них не было. За год до нынешнего хорошего майского дня та мать, нагулявшая во второй раз брюхо, отсудила Митьку. И никто ни во что не стал вникать — ни Верховный суд, ни всякая там служба по правам человека и ребенка, ни в удовольствие пошумевшая по этому поводу пресса. Митьку увезли.

Вот так было и так стало. И Костя с того дня стал видеть Митьку среди стаи собак, только окружали его другие собаки, не отрядные.

Сегодня же, пьяный, он уснул хорошо и крепко, будто было у них все, как было прежде, с Митькой, или, по крайней мере, было как в хорошей семье его хорошего друга.